

БЫЛЫШИЕ ОЖИДАНИЯ

Лидия ФОМЕНКО

Заметки о художественной прозе 1962 года

КОГО не взволнует пробуждение природы? Когда взламываются, трещат глыбы льда, а воды, освободившись от долгой зимней скованности, бегут, дыбятся, рокочат, словно споря, переговариваясь, обгоняя друг друга, человек не может оставаться равнодушным. Он знает, что воды эти родились не заново, что они жили своей жизнью и там, под кромкой льда, но блеснуло солнце, повеяло весенним воздухом, и вырвались они из своего заточения и буйно-радостно понеслись навстречу вечно обновляющейся жизни.

Думаю, не надо особой смелости, чтобы сравнить с этим торжеством раскрепощения бытие советского искусства последних лет. Его овеял тот «теплый ветер», та творческая атмосфера времени, что определилась в результате глубоко человеческих идей двух партийных съездов. И чем глубже проникают в жизнь восстановленные ленинские нормы, тем разлив живительных вод в искусстве становится все шире, все могущественнее.

Оглаждая художественную прозу, напечатанную в журналах 1962 года, не можешь не ощутить, каким буйным потоком хлынули в литературу новые силы и какой свежестью отмечены произведения тех, кто уже давно связал свою жизнь с искусством. Герои, с которыми ты знакомишься в течение всех 12 месяцев, будто сошли со страниц журналов, обступили тебя, стали плотной стеной и властно потребовали: «Пойми нас хорошенько, вдумайся в нашу судьбу, посочувствуй нам, рассуди нас». Они все очень разные, эти герои, и все же строй их един, монолитен: Василий Мартьянов и Сергей Крылов, Владимир Завьялов и Сергей Вохминцев, Иван Шухов и Иннокентий Седых, другие их сверстники и единомышленники, оставаясь самими собой, вдруг оказались тесно спаянными воедино чем-то очень значительным. И это цементирующее средство — атмосфера времени восстановления ленинских норм.

Без ощущения оздоравливающего дуновения исторических решений XX и XXII съездов партии не могли быть написаны ни «Совесть» Доры Павловой («Москва»), ни «Иду на грозу» Даниила Гранина («Знамя»), ни «Свет далекой звезды» Александра Чаковского («Октябрь»), ни «Тишина» Юрия Бондарева («Новый мир»), ни «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына («Новый мир»), ни «Татьяна Тарханова» Михаила Жестева («Звезда»), ни «Повесть о радисте Камушкине» Виктора Конецкого («Нева»), ни «Сирень» Петра Сагина («Наш современник»).

Как правило, произведения минувшего года не похожи друг на друга. «Лица необщее выражение» отличает и мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (Новый мир), и повесть Чингиза Айтматова «Первый учитель» («Новый мир»), и «Через кладбище» Павла Нилина («Знамя»), и «Марс над Козачьим Бором» Владимира Федорова («Октябрь»), и «Жив человек» Владимира Максимова («Октябрь»), и «Сироту» Александра Яшина («Москва»). Эта непохожесть — в строительном материале и в методах кладки. Одни вещи повествовательны, с уклоном в эпос, другие — лиричны, овеяны романтической озаренностью, третьи — исповеди, обнаженная правда сердца.

Значителен художественный труд Эренбурга. Его мемуары в высокой степени лиричны. Та часть записки, которая опубликована в 1962 году, по жанру синтетична. Сердечность и искренность, предельная душевная обнаженность соединены здесь с искусством поистине героическим. Это эпос о неповторимом мужестве и скорбных днях отважного испанского народа, созданный не просто очевидцем, а непосредственным участником событий Ильей Эренбургом. Открывает-

ся еще один пример высокого патристического подвига народа, величие чувства братской нерушимой дружбы воинов, представляющих почти все страны мира, бившихся за свободу Испании от лица всех народов.

Доминирующая черта литературы года — социальная чуткость, гражданская направленность. Порыв войти в темп «дня летящего» охватил всех авторов книг 1962 года. И одна из важнейших политических и нравственных проблем времени — борьба с наследием недавнего трагического прошлого. Романы, повести выходят какие угодно, только не равнодушные, не малокровные, они все — со страстью, с гневом обличения, с огнем желания «рваться в завтра, вперед», очищенными от вчерашних ошибок. В иных книгах эта проблема ставится в прямой форме: «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, «Самородок» Георгия Шелеста («Известия», 6/Х), «День летящий» Вадима Кожевникова («Знамя»), «Тишина» Юрия Бондарева («Новый мир»); в других жизненная канва сюжета косвенно касается фактов, порожденных теми же суровыми обстоятельствами, однако прослеживаются остатки культуры в сознании современника, в обстановке, в причинах тех или иных поступков: рассказы Сергея Воронина («Известия»), «Жив человек» Владимира Максимова («Октябрь»), «Время нашей зрелости» Е. Ярмагаева («Звезда»), «Свет далекой звезды» Александра Чаковского («Октябрь»).

Поставленная открыто или опосредствованно, проблема эта становится доминирующей. Еще не отбелена, не отжила трагическая тема, еще нужно, необходимо осознать, «как это было на земле» и еще... как не должно быть! Не удивительно, что сегодня мы отмечаем углубление искусства, его повывающуюся проблемность. Человек и его связи. Гибельность индивидуализма, его разрушающая роль. Могучая сила общественного начала. Последняя проблема поднимает нашу литературу и снова ставит ее в первую шеренгу искусства мирового. Высокое социальное начало, осознание исторической ответственности — эти свойства обладают особой притягательной силой.

МНЕ кажется очень сильным художественным произведением года повесть Владимира Максимова «Жив человек» («Октябрь»). Сергей Царев, на глазах которого еще до войны арестовали отца за какие-то темные махинации, убегает из дома, влачит жалкое существование бездомного бродяги, вора, контрабандиста.

Зверное существование Сергея замыкается на побеге из заключения с двумя уголовниками. Одного — Зяму, хрупкого и незащищенного — он сам, Сергей Царев, обрекает на одинокие скитания в тайге. Другой — Патефон — бросает на верную смерть самого Сергея. Закон — права сильного. Волчий закон.

Несчастье сложившееся обстоятельства, а пуще всего полная рабская подчиненность им внушают Сергею мысль: человек человеку — волк. Словно бы он живет и не в Советской стране.

Замерзающего в таежном сугробе Сергея подбирает парень, приносит его в сельскую больницу. Приходя временами в сознание, Сергей ощущает мысленным взором не только окружающее, но и всю свою жизнь. И хлопотущие вокруг него люди: курносенькая медсестра, отпускающая любимого, отца будущего своего ребенка, в тайгу по лихим дорогам за доктором для чужо-

го, никому не известного человека, и ее Николай, погибающий в тайге, и фельдшерница Сима, и «старый», 35-летний доктор, способный мертвого на ноги поднять, и бабка Силовна, сердобальная и мудрая старуха, — все они составляют сопротивляющуюся память Сергея вызывая из прошлого не одни лишь веки падения. На этом диком пути были и проблески света. Та же радость обладания — встреча с девчонкой Валькой, бунт против вызывающего гадливую ненависть бандита Альберта Ивановича и чувство глубокой, невысказанной боли, когда его, пленного, прогоняли мимо русских женщин, а они стояли «черные, скорбные, безмолвные, как надгробные камни». Самое светлое пятно в памяти — товарищ по пленному строю скорняк Семен Семенович.

Как сама жизнь, как чистая, неразменная правда, слова Семена Семеновича, убеждающего Сергея поверить в людей: «Ты лучше перемножь узелки при дороге на тех баб, что всей деревней их собирали, тебе, дураку, несли...»

Задал задачу Сергею Семен Семенович, защитивший его от пули конвоира. Глядя на падающего товарища, Сергей, может быть, не отдавая сам себе отчета, понял: прав был его взрослый друг, люди — не сволочи.

Жизнь насчитала ему много черных дней, но незабываемы и светлые. Вот почему он кричит жителям таежной слободки, отдавшим ему свое человеческое тепло, кричит, не таясь: «Я бежал из заключения... Моя фамилия — Царев... Сергей Царев... Сергей Алексеевич».

Мрачный, жестокий рассказ этот проникнут подлинным торжеством гуманизма, сбросившего с себя декларативные одежды, в которые рядилось в недавние годы это высокое понятие, выстраданное и добытое человечеством.

Стоило бы Максимова уступить, пойти на поводу у материала, где-то упустить самое важное, свое художническое мерило, — и повесть не поднялась бы до той оптимистически звонкой, искренней ноты, какой обрывается она в финале. Пусть Сергею предстоит все же отбыть положенное ему наказание, но разве нравственная работа, происшедшая в нем, не оставит своей зарубки и разве жизнь его потом не пойдет уже по-иному?

Если ко всему этому прибавить то, что в повести соблюдена строгая художественная пропорция, что вся она точно, прицельно сделана, мы снова можем сказать, что «Жив человек» — одна из настоящих художественных удач года.

В ЗАПИСКАХ Виктора Некрасова «По обе стороны океана» приводятся слова Александра Твардовского: «В искусстве, в литературе, как и в любви, можно лгать лишь до поры — раньше или позже наступит время сказать всю правду».

Разумеется, в недавние годы писатели — в подавляющем своем большинстве — не лгали, они скорее всего заблуждались. Сам же Твардовский очень ярко рассказал, «как это было на земле». И теперь уже не нужно «ни прибавлять, ни убавлять». Трагедия и заключалась в том, что «так», а не иначе «было на земле». Трагедия — в людях, цепеневших при одном имени Сталина, относивших все ужасы за счет кого-то, кто обманывает Сталина, и свято веривших в его непогрешимость против коммунизма.

Борьба с последствиями культуры нужна для нас самих, для решения не только политических, идеологических, но и внутренних психологических задач.

В прессе уже широко и по достоинству отмечена повесть никому доселе не известного Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Произведение это поистине трагическое, причем автор нигде не подчеркивает трагизма, а, напротив, рисуя один день лагерной жизни, педалирует на удачливости этого дня.

Лаконизм повседневности, однообразие чудовищной пытки монотонностью повторяющегося чуть ли не звериного бытия, животной борьбы за существование, за лишнюю ложку баланды или корку хлеба — вот это и есть трагедия. Трагедия человека вообще. Но если, как это ни странно и ни больно, признать, что все это, все «благополучие» эзков, происходит при социализме, тогда трагедия усиливается во много раз. Она превращается в кричащие противоречия, которые рано или поздно должны были разрешиться правдой XX съезда партии. Той самой правдой, которая может быть скрыта «лишь до поры». Сейчас настала пора говорить правду вслух. Для того чтобы подобное не повторялось.

В повести Солженицына, написанной языком народным, с самобытными местными речениями, сквозь всю муку бесчеловечного, приниженного существования встает образ глубокой гуманности. Люди, согнанные со всех концов советской земли в лагерь, «эзки», оказались на высоте человечности. Большинство из них несут «свой крест» с достоинством. Они не потеряли гордости, самоуважения. Солженицын обладает искусством характера. Средства его минимальны, но островыразительны.

Взять хотя бы эзка Ю-81:

«Камень, темный, тесанный» — таким видит Иван Шухов несгибающегося человека, которому «совали за десяткой десятку». Человек вымотанный, но не сломившийся. Кто он? Невольно угадываешь в этом облике черты то офаного, то другого известного тебе человека, скорее всего военного — вои правка какая, и лагерь не пригнул его! Непримиримого, углубленного в себя.

Невыносимо больно становится и за кавторанга Буйновского, уходящего в карцер: «Десять суток! Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, — это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулез, и из больницы уже не вылезешь».

А по пятнадцать суток строгого кто отсидел — уже те в земле сырой.

Пока в бараке живешь — молись от радости и не попадайся».

Лаконизм образов убеждает больше, чем самое велеречивое описание. Строить соцгородок — только вдуматься! — соцгородок! — самое жестокое наказание. Да, так было в 30-е и 40-е годы. Строили социалистические города, поднимали экономику, возводили здание счастья и... губили массы людей, невинно приговоренных к мукам. Зону сами для себя обносили колючей проволокой — такого нравственного садизма не сыщешь у Данте.

Повесть Солженицына при всей ее художественной отточенности и жестокости, горькой правде все же не раскрывает всей диалектики времени. Здесь выражено страстное «нет!» сталинскому порядку. В Шухове и других сохранилась человечность. Но повесть не поднималась до философии времени, до широкого обобщения, способного обнять противоборствующие явления эпохи. Нельзя видеть в прошлом только чудовищные злодейства. В том-то и счастье, что культ не так всемогущ, как сам он. Сталин, об этом думал, как думали почти все тогда. Одному человеку приписывалась могучая сила народа. А эта неиссякаемая творческая сила делала свое большое историческое дело.

«Один день Ивана Денисовича» лишь приблизился к трагическому произведению полной, всеобъемлющей правды.

Может быть, менее глубоко и художнически точно, однако объективно, с

выверенной мыслью написан рассказ Георгия Шелеста «Самородок». Это рассказ человека, прошедшего много лет, «десятку за десяткой», в тюрьмах и лагерях. В лагере встречаются те, кто в прошлом были социально и политически активными людьми. Они так же, как и у Солженицына, полуголодные, неизлечимо больные, переносят нечеловеческие лишения, но они не могут, органически не могут перестать быть комсомольцами и коммунистами.

По-видимому, не просто выступить с разоблачительными произведениями, если даже такие талантливые творческие самородки, как повесть Солженицына, еще не дает всей правды о тех временах.

Сильнее всего пока что в таких произведениях мир эмоциональный. Еще трудно, по-видимому, отрешиться от непосредственного чувства гнева, горя, ненависти, чтобы полно и объективно передать в образах и создании, и беззакония того времени.

Сейчас думается только о разрушении, о поруганных жизнях, о тех, кто понес незаслуженное наказание.

Настало время от разоблачений и констатаций переходить к исследованию психологических процессов минувшей трагедии.

И, разоблачая прошлое, не упускать самого важного, нового в современности. Наши дни еще очень тесно связаны с прошлым, еще много его живучих остатков. Но время наше повзрослело, оно перерастает ошибки и пороки прошлого. И если не увидим мы этой радости нашего дня, мы превратимся лишь в присяжных отпевал.

ДЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ нашей наступила пора больших перспектив. Отходит в прошлое описательность и иллюстративность, которой переболели авторы романов и повестей в пятидесятые годы. Не такое время, чтобы плыть за событиями и фиксировать их. Время требует мысли, споров, поисков и решений.

Если взять молодую прозу, то иногда мы встретим скорее обещания и декларации новизны, чем истинные муки поиска. При всем драматизме поколения, которому выпала тяжелая доля переоценки ценностей, у некоторых писателей эта проблема решается все еще облегченно. Убеждаешься в том, что герою, созданному молодой прозой, еще не по плечу решение больших вопросов времени, что подчас острая жажда правды сталкивается с неумением увидеть, распознать ее. Обладая нравственным и эмоциональным богатством, молодые не всегда сильны во взгляде на действительность, они мало размышляют, доверяя лишь своим ощущениям.

Только не будем упрекать молодых за поиск и постоянно окатывать их холодной водой из ушата: «Это уже было». Было, ну и что же? А может быть, теперь будет по-другому, будет лучше? Доставила же нам удовольствие И. Грекова, в современной, динамичной форме написавшая рассказ «За проходной». Интересны ведь произведения Юлиана Семенова и Василия Шукшина. Увлекают, заставляют думать и спорить повести и рассказы Василия Аксенова. Не так уж молод Владимир Тендряков, но он свеж и самобытен. Он задает читателю каждый раз загадку — психологическую и нравственную, он наращивает сюжеты-эксперименты, заставляя нас отгадывать: а что будет с героями, если случится, что на охоте убьют вслепую человека и возникнет проблема нравственного суда; если вдруг произойдет авария энергетической системы и наступит «конец света» в масштабе небольшого города, а люди начнут «проявляться» в кромешной тьме («Короткое замыкание», «Знамя»).

Все это поиск плодотворный. Отмахнуться от него нельзя. Мне кажется, здесь вполне подходит формула: «Победителей не судят». Если, конечно, идейный и художественный результат убедителен, представляет собой как бы ответ на жизненную задачу. Кстати, вспомним вещи слова: «Все жанры хороши, кроме скучного». Кроме бессодержательного, описательного, рассудочного.

Поддерживая поиск в области формы, я стою все же за то, что никакие искания не затмят, не опрокинут форм классического реализма. Они весьма устойчивы. Как бы и сколько бы ни экспериментировали, писатели неизбежно соотносят свои поиски с отточенной и выверенной формой классического реализма. Нельзя же всерьез думать, что лирическая проза родилась

только теперь, или что публицистические романы — открытие современности, или что экспрессивно-диалогическая форма — прерогатива нашего века. Поневоле скажешь: «Все это было». Была великолепная лирическая проза Гейне и Герцена, были книги-диалоги («Племянник Рамо» Дени Дидро), были публицистические романы Чернышевского.

И все же жанры повторяются каждый раз по-своему, время накладывает на них неизгладимый отпечаток. Ему противиться невозможно. В этом своем, сегодняшнем и состоит новизна.

НАГЛЯДНЫЙ и в самом высочайшем смысле плодотворный пример творческого развития классики — последние рассказы и повесть Эмануила Казакевича («Синяя тетрадь», «При свете дня», «Приезд отца в гости к сыну»).

Интересен роман Даниила Гранина «Иду на грозу». Многоступенчатый роман этот пронизан плотной, сжатой, предельно сконцентрированной мыслью. Он о физиках, об исканиях, остающихся только тогда подлинной человеческой и народной ценностью, когда «идут на грозу» до конца, без компромиссов.

Превосходно владеет Гранин материалом. Он знает отлично жизнь своих героев. С самого начала творчества он пишет об искателях. Сегодня ему необходимо разобраться в побудительных причинах поиска. Сталивая, на первый взгляд, одинаковых Олега Тулина и Сергея Крылова, Гранин стремится разгадать самое существенное: до какого предела человек — со своей научной мечтой?

В романе идет поединок не только между творцами и приспособленцами — последние очень ясны, прозрачна мысль о необходимости парализовать их влияние на науку. Борьба идет по более высокому счету — между двумя типами творцов. Борются Крылов и Тулин. Друзья, приятели? Да, друзья и приятели и в то же время люди разных жизненных программ.

Гибель Ричарда Гольдина — это трагическое обстоятельство только убыстрило процесс размежевания Крылова и Тулина. Перед лицом комиссий, доисследований и всего того, что влечет за собой ответственность, в Тулине выявляется то, что было глубоко скрыто: он с научной до тех пор, пока ему в ней удобно. Вот, оказывается, как тщательно маскировался обыватель. А теперь этому «волшебнику», повелителю молний ничего не стоит сказать: «Вся-то наша жизнь — компромисс... Мы никогда не можем быть до конца честными и делать, что хотим».

Сергей Крылов, чья жизнь не была усеяна розами, кто шел по своему человеческому и научному пути, тяжело взбираясь на крутые перевалы, у кого не было радости и в быту. Сергей оказался именно тем одержимым, который не оставил своей второй жизни — науки — даже в трагическую минуту потери друга. И тогда такой далекий от личных счетов Крылов предупреждает Тулина: «...Хочу, чтобы ты знал. Если ты уедешь, то я не возьму тебя назад...» Эта с трудом произнесенная фраза заславляет Тулина, искренне расхотаться. «Не возьмет? В его, Тулина, программу? Да кто он такой, этот Крылов, что может взять или не взять его, Тулина?» Примерно так можно понять причину его смеха. И тем не менее нравственная правда оказалась на стороне Крылова.

Гранину совсем не надо было несколькими страницами позднее расшифровывать смысл этих принципиальных, категорических суждений Крылова, заставляя Крылова разъяряться всем и без того понятные причины его решения: «Олег для этого не годится... Он мне просто не нужен... Он мне мешал бы...».

Впрочем, таких «разъясняющих» страниц в романе немало. Избрав форму, требующую предельной сжатости, порой даже недоговоренности, Гранин не всегда удерживается на этой высоте и скатывается порой к описательности, к разъяснениям, лишенным художественной окраски.

И все же в романе много настоящих находок. Побеждает строгая нравственная требовательность, непримиримость науки и приспособленчества, убеждений и компромисса — нота, которая звучит лейтмотивом в обрисовке образов Ричарда Гольдина, Сергея Крылова, академика Данкевича.

Нравственно чистая атмосфера отличает и роман Александра Чаковского «Свет далекой звезды». По-моему, не-

выгодно начато это повествование. С шаблонной и где-то даже пошловатой сценки на курорте. А быть может, здесь прием — эпизод заурядный, призванный по контрасту оттенить высокую душу той главной героини, с которой нам предстоит познакомиться, да и то не с ней самой, а с ее образом, ожившим в воспоминаниях Владимира Завьялова и других людей, знавших Ольгу Миронову. По случайно найденной фотографии, не известно кем и где сделанной, узнает Завьялов любимую, которую считал погибшей.

Этот новый роман Чаковского сюжетно более интересен, чем прежние. Видно, что автор поборол в себе рассудочное членение наблюдений. В новой книге, говоря по-бытовому, больше души. Больше глубоких раздумий, когда личная судьба героев перемежается думой и болью о времени, о Родине, о судьбе поколения советских людей, переживших период культа личности Сталина.

Пройдя через все страдания и скитания Ольги, как бы вместе с нею прожив ее жизнь, ту часть, которая прошла без него, снова и уже безнадежно потеряв ее, Владимир Завьялов нашел свое настоящее и даже будущее. Он снова пропустил через свой мозг и сердце все прошедшее не для того, однако, чтобы жить вчерашним днем: «Теперь, когда он найдет ее, они уже не вернутся обратно. Вообще нельзя возвращаться обратно. Они пойдут дальше, вперед». Еще раз и еще определеннее эта мысль выражена устами юноши фотокорреспондента, которого попросили выразить свое кредо одной фразой. Он сказал: «Вся жизнь впереди. Вот. Если одной фразой».

Как видим, опять нота мажорная, несмотря на всю трагедию, на всю горечь и боль, которые нам причинили нравственные и физические утраты в недавнее время; звучит любовь к жизни, к людям, искренняя, убежденная вера в будущее.

ЕСЛИ вдуматься во все такие разные произведения минувшего года, то вот эта нота и есть самая главная, она господствует, она пронизывает почти все, что мы читали в 1962 году.

Когда Александр Яшин в повести «Сирота» («Москва») развенчивает паразитизм, то это и есть борьба за чистоту человечности. Когда Борис Зубавин («Радость» — «Москва») проводит Грину Вострикова между Сциллой и Харибдой, заставляя на собственных горьких уроках убедиться, как важно не уронить себя, а беречь совесть и рабочую гордость, вести чистую, трудовую жизнь; когда Ирина Гуро в «Московских бульварах» («Октябрь») подчеркивает силу положительного примера, заставляя молодых рабочих, украшающих наш чудесный город, выбирать

«делать жизнь с кого»; когда Галина Николаева в образе бабки Василисы («Октябрь») рисует самую человеческую совесть; когда радист Камушкин у Виктора Конецкого, преодолевая приступ тяжелой болезни, всю ночь ведет прием сигналов спутника; и, наконец, когда Алексей Кириосов рисует обязательного в своей чистоте и непосредственности, в своей жажде яркого полезного дела «Жульверна» («Необитаемый остров») — все это звуки одного аккорда: аккорда мажорного, аккорда радости узнавания жизненной красоты. Как бы ни было жестоко и активно зло, побеждает человечность, побеждает радость, ибо в советском обществе созданы все условия для их торжества. Разве не явственно видно, как трудно становится злу? Как ему приходится ловить и изворачиваться, надевать на себя личину, исхитряться, чтобы на какое-то время завладеть душой человека? Поэтому по всему оно, может быть, и сложнее теперь, и бороться с ним не так уж легко, но и сами эти новые формы не что иное, как признание силы добра. Трудно приходится теперь дурным людям. Не спасают их ни высокие посты, какие они до времени занимали, ни демагогические уловки.

Советские люди 60-х годов стали намного умнее, выросли политически, за плечами у них большая и трудная историческая опыт — вот почему процесс распознавания зла теперь убыстрился. Мы живем в такое время, когда избрание судьбы «сироты» Павла у Яшина никому не покажется посягательством на основы советского строя.

Кстати, в повести есть и действительный герой времени, есть братишка Павла — Александр, обрисованный теплыми и уважительными красками. И вовсе не для того, чтобы «уравновесить» зло, которое несет в себе Павел, а просто не мог Яшин, хорошо знающий деревню, ограничиться только тем, чтобы разоблачить паразитическое «сиротство» Павла.

Вот почему с такой страстью вдалеке не совершенном еще произведении Дора Павлова («Совесть» — «Москва») заклеймила рецидивы культа личности, проявляющиеся иногда и сегодня в партийной работе.

Да и любая из книжек прошедшего года так или иначе продиктована требованиями времени. Иначе было бы и невозможно. Литература — помощник партии в решении исторических задач воспитания людей в духе коммунизма.

Еще раз оглядываясь на прозу минувшего года. Будто буря пролетела над нею. Вздрыбились целые пласты нового, перспективного. Разлилась мощным потоком молодая проза. Она проникла во все поры нашей жизни. Она налилась свежими соками. Ветер мчит поток в единое могучее русло сильного обещания искусства.

Печатаю заметки Лидии Фоменко, редколлегия «Литературной России» надеется, что писатели, критики и читатели выступят на страницах еженедельника со своими мыслями о прозе 1962 года.

Галина КАМЕННАЯ

А Й С Б Е Р Т

Слушай, бело-зеленый айсберг,
Ты не чувствуешь солнца разве?
Почему же стучатся рыбы
О твою глубинную глыбу!

Глупым рыбам ты мнишься чудом,
Чудом-юдом ивешь откуда,
Молчаливой седой загадкой.

Но я знаю, ты просто гладкий.
Но я знаю, ты весь холодный
Наверху и в тиши подводной.

Убелили тебя не страсти,
Заострило тебя не горе.
Это, айсберг, тебя, как сласти,
Языком облизало море.

СОЛНЦЕ

Оно — заря,
Оно — погода,
Без солнца нету ничего.
А мы на Севере погоды
Совсем не видели его.

И ничего.
И притерпелись.

Не нужно мне твое величие,
Обтекаемое ветрами,
Мне —
Крыло голубое птичке,
Сопки, вздыбленные шатрами,
Мне —
Полярную ночь и звезды,
След олени на свежем насте,
Первым светом дрожащий воздух,
Беспокойных потоков счастье.

Если я на тебя похожа,
Если я ледяная тоже,
Сердце солнцем весны расплаваю,
Ничего себе не оставлю,
Льбедину встречу стаю,
Провожу, а сама растаю —
И бегущей волною стану.

Стреляю зверя на бегу,
По снегу лыжами скрипели
И засыпали на снегу.

Нет, солнца я не отрицаю,
Но в нашем северном краю,
Когда оно едва мерцает,
Я больше землю признаю.